

Л.М. Баткин

НАЧИНАЮЩИЙ МЕДИЕВИСТ ИЗ ПРОВИНЦИИ - В ГОСТЯХ У ЛЮБЛИНСКИХ

На историческом факультете Харьковского университета - о, каким неправдоподобно анекдотическим, пахучим зверинцем был, между прочим, этот факультет и как редко встречались среди его "доцентов" и прочих приматов человеческие лица! - с 1952 г. мне довелось слушать общий курс, а затем и специализироваться по западному средневековью, у молодой (ныне тоже, увы, давно покойной) Л.П. Калуцкой. Совершенно выпадавшая из обстановки помянутого зверинца, застенчивая до густого румянца, всем существом своим тихо ненавидевшая советский режим, интеллигентная и трудолюбивая Калуцкая свою диссертацию о "Завещании" Ришелье готовила (если не ошибаюсь, в заочной аспирантуре) под руководством проф. Александры Дмитриевны Люблинской.

Именно дорогой Любове Павловне Калуцкой я и оказался всецело обязан знакомством с Люблинскими вкупе со всеми воспоследовавшими питерскими чудесами. Вот как сложилось их начало. Весной 1953 г. я заканчивал третий курс и Л.П. загорелась желанием переслать два моих студенческих опуса, включая курсовую работу об "идеологии Данте" Александре Дмитриевне дабы узнать ее мнение.

Ответом было первое полученное мною письмо А.Д., от 17 июня. (Здесь и далее орфографию писем - А.Д. второпях пропускала изредка запятые - сохраняю без изменений. Подчеркивания будут переданы полужирным шрифтом. -Л.Б.).

"Я с большим интересом прочла обе Ваши статьи. Они свидетельствуют о наличии у вас незаурядных способностей к научно-исследовательской работе и если Вы будете усердно работать (лейтмотив на все последующие годы! - Л.Б.), то сможете достичь хороших результатов". Затем шло предложение ...немедленно переводиться в ЛГУ! И деловые инструкции на сей счет.

Три недели я жил ошеломительной экзотической надеждой.

Однако к 11 июля выяснилось, что хлопоты А.Д. остались безуспешными. Вслед за телеграммой пришло письмо. Вторично я вглядывался в очень мелкий изящно-бисерный почерк.

"Уважаемый т. Баткин (простите, не знаю Вашего имени-отчества) (...) Теперь меня очень беспокоит мысль — не отчислились ли Вы уже из ХГУ?! Напишите мне сразу же. Мне очень, очень жаль, что так обернулось дело и Вам пришлось пережить разочарование. Поверьте, что я тоже очень огорчена. Я говорю это совершенно искренно, т.к. очень хотела - и сейчас хочу — видеть Вас студентом нашей кафедры. Но я надеюсь, что даже живучи в разных городах, мы с Вами сможем поближе познакомиться и наладить обмен мнениями. Я

была бы этому очень рада, т.к. -мне так представляется - это бы ло бы полезно нам обоим. Во всяком случае, всякий вид помощи, в особенности в области нашей науки, с моей стороны Вам обеспечен и я очень прошу Вас писать мне без всякого стеснения о всем, что Вам хотелось бы написать {...}"

Я был, надеюсь, не настолько самонадеян, чтобы вообразить, будто мнения харьковского студента двадцати одного года от роду могут стать "полезными" для знаменитой ученицы Добиаш-Рождественской Но слова об "обмене мнениями" и о "нашей науке", как и просьба сообщить "имя и отчество", были вполне органичным выражением не только старомодной любезности, но и отношения к юному корреспонденту как в принципе равному. Я жадно ловил в непривычном тоне отзвуки старой питерской академической среды.

Сам стиль взаимоотношений и последующей переписки, отмеченной обязательностью и поразительно щедрой обстоятельностью А.Д., - постоянно перегруженная сложной и важной работой, она направляла мне послания подчас на десяток и более страниц! - был для меня прекрасным уроком. Сумел ли я его усвоить? Возможно, мне и доводилось впоследствии — по отношению к другим людям и всего лишь от случая к случаю - поступать сходным образом. Но никогда не имел повода расплатиться сполна за незабываемый человеческий долг.

Мне было трудно приняться за эти беглые и отрывочные мемуарные заметки по одной-единственной причине. Правила хорошего тона требуют, чтобы тот, кто взялся вспоминать, всячески стушевался бы и рассказывал именно о тех, кого он помнит, а не о собственной персоне. Себя надобно оставить в густой тени. Иначе дело грозит обернуться эгоцентризмом, безвкусицей, неловкостью.

О, разумеется. Но... как мне рассказать об А.Д. иначе, чем сквозь *ее замечательную и труднооценимую роль в моей личной судьбе!*

Я никогда не жил в Питере, не был учеником А.Д. в каком-либо предметном плане. Но я получил возможность регулярного научного общения, спрашивал, о чем вздумается, посылал А.Д. в предварительном порядке вплоть до середины 60-х годов все написанное мною и выслушивал признанную и жесткую подробнейшую профессиональную критику. Мне довелось узнать людей незнакомой мне дотопе интеллектуальной выделки и личного масштаба. Я впервые наблюдал такой ритм научного и преподавательского труда, такой стиль жизни. У Александры Дмитриевны и Владимира Сергеевича он был по-европейски систематичный и насыщенный, изысканный и динамичный. В лице Люблинских - а отчасти, благодаря им, и шире - мне довелось ощутить атмосферу деятельности и жизни выживших аборигенов *другой*, подлинно культурной среды.

Вышло так, что даже сам Петербург оказался целиком связан для меня с Люблинскими. Они любили его показывать. В придачу к неожиданному славному знакомству я получил великий город. При всякой

погоде и освещении Питер стоял загадочно-самоуглубленно и независимо от пешеходов, оставаясь неизменным и словно бы отстраненным от повседневного советского существования.

Если выразиться высокопарно, но вполне точно, Люблинские стали моим личным окном в Европу...

Благодаря внезапно установившемуся (и сохранившемуся до конца) самому теплому отношению А.Д., - то, что связано с лежащими сейчас передо мной несчетными пожелтевшими листками, и то, из чего состояли поездки "в Питер, к Люблинским", было самым необычно-поучительным и праздничным в моей биографии на протяжении 50-х годов особенно.

В январе 1954 г. я впервые в жизни приехал в Ленинград. Разыскал Пролетарский переулок. Кони Клодта бешено рвались под ледяным проливным дождем. Я, смущенно чувствуя, что прохуdivшиеся ботинки неприлично хлюпают и ноги промокли насквозь, с волнением дернул шнур звонка.

В ответ посыпался густой малиновый звон.

Оказалось, что старинным звонком служило в прихожей нечто вроде дерева с колокольцами. Я растерянно глядел и на улыбающихся хозяев, и на невиданное деревце. После первых же слов А.Д. потребовала снять ботинки, переодеться - о, ужас! - в сухие носки В.С. и греть ноги и обувь перед калорифером. Притом минут на десять-пятнадцать я был в основном предоставлен в углу самому себе. А.Д. входила и выходила из комнаты, накрывая чай и бегло, приветливо заговаривая о чем-то незначущем. Я понял с благодарностью, что мне деликатно была таким образом предоставлена возможность не только обсушиться, но и осмотреться и немножко привыкнуть к обстановке, к хозяевам.

Их жизненный уклад был собранным и методичным, а притом открытым для новаций. Помню, Елена Чеславовна Скржинская, впервые попав к Люблинским по случаю моего последиссертационного "банкета" (для коего А.Д. предложила собственную тесную эту квартирку у Аничкова моста) и увидев, насколько рационально было использовано пространство, с выгородками для рабочих мест, книг и пр., вздохнула: "Вот как люди умеют устраивать жизнь". Потом Люблинские перебрались в более или менее просторную квартиру на Дрезденской, с тремя отдельными комнатами и двумя балконами. Они ей не могли нарадоваться. Это была первая "кооперативная" квартира, в которую я попал в своей жизни. Строительство их в начале 60-х было еще диковинкой, Люблинские оказались в этом деле пионерами, во всяком случае среди питерских гуманитариев. Это у Люблинских я впервые проводил вечера за просмотром снятых ими в поездках *слайдов*, под вкусный и точный комментарий хозяев, с неподдельным удовольствием не только потчевавших этим блюдом гостей, но и самих заново в который раз переживавших впечатления последнего года.

Это у Люблинских - я тоже впервые в жизни увидел на полянке в близлежащем к Дрезденской лесу, как они азартно и неумело (им было все же уже под шестьдесят!) играют через сетку, привязанную к елям, в "волан" (т.е. бадминтон, который для А.Д. и В.С. был ожившей старинной забавой французской знати). Я тут же довольно быстро освоился и, бесстыдно пользуясь преимуществом тридцатилетнего мужчины, стал подчас даже переигрывать их. Люблинские хвалили, но, кажется, В.С. немножко все-таки расстраивался.

После некоторых колебаний воздержусь от цитирования научно-исторических эпистолярных суждений А.Д. Это особая тема, требующая бесконечных комментариев и пр.

Упомяну лишь два случая.

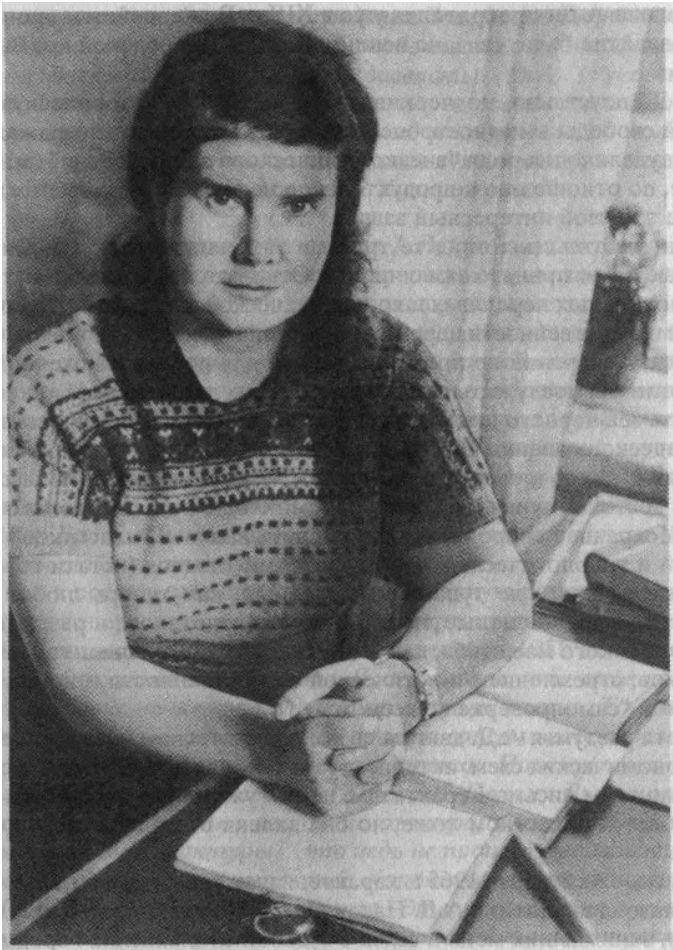
Два письма на одну тему были направлены студенту в Харьков, первое датировано 24—28 апреля (т.е. писалось пять дней), второе - от 11 июня 1954 г. Они посвящены аграрной политэкономии европейского феодализма и занимают соответственно двадцать одну и шестнадцать страниц совсем уже мелкого и сверхубористого текста.

Любопытный, по-моему, штрих для понимания научной психологии тех времен, подобно реке искавшей себе путь в наклонях каменистой местности: *косвенно* дискуссия была связана с последним сочинением Сталина, где речь шла об "основном законе социализма". По формальной аналогии нетрудно было заговорить и об "основном законе феодализма" в плане единства между характером потребления и производства, и пр. ...каковой "закон" ведь нигде и никем из "классиков", впрочем, выведен не был... но тем самым это давало относительно свободное от догматики пространство для медиевистических экономических споров. Я попытался, было, с грацией тюленя нырнуть в эту открывшуюся прорубь.

А.Д. отвечала (конечно, *себе*, пользуясь случаем упорядочить собственные взгляды, а не просто мне): *«Насчет Ваших соображений я много думала (...) Начну с главного, что требует наибольшего внимания, с цели производства в феодальном обществе и с роли в нем ремесленников (...) Вы слишком торопитесь с выводами. Вы вообще, насколько я могу судить, несколько спешите с выводами. Гипотезы абсолютно необходимы в научном исследовании, но в "выводы" их следует превращать лишь после взвешивания всех pro и contra. Самопроверка во всем — без этого невозможно выработка научного метода работы Вы об этом конечно знаете. Но не всегда применяете (...)*»

Вслед за сим я, перечитывая ответы А.Д. сорок лет спустя, нахожу в них систему рассуждений, которая была не в пример раскованной принятой тогда официально. Первое из двух писем посвящено, собственно, детальнейшей критике появившейся перед тем в "Вопросах истории" статьи Сказкина и Меймана.

Основная мысль А.Д. состояла в том, что свободные города - не окраина, а коренная характеристика феодализма в Западной Европе



А.Д. Люблинская. Сентябрь 1956 г.

(резко противопоставляемого ею восточноевропейской барщине). Что не господствующий класс и не принудительная феодальная рента, а прежде всего лично свободные и работающие преимущественно Ради собственного потребления крестьяне, особливо же городские ремесленники, составляют наиболее органическую, решающую подоснову европейского феодализма. Что отсюда - нетупиковый его характер, в отличие от феодализма "восточного". Ибо: "Избыточный продукт - не случайность в феодальном производстве, а его органическая часть. Без него в феодализме нет развития", и т.д. Однако рост этого продукта и производительности труда *в сельском хозяйстве*,

настаивала А.Д., прекратился уже в XIII в. В дальнейшем экономическое развитие было связано исключительно с городской промышленностью.

А.Д. неустанно подчеркивала неопределимую историческую роль личной свободы западноевропейских крестьян и резко возражала против преувеличения роли "внеэкономического принуждения" (во всяком случае, по отношению к продуктовой, а не отработочной ренте). У нее был на это свой интересный взгляд.

Множество ссылок на те труды и замечания Маркса и Энгельса, которые было принято замалчивать. Основательное знание материала в его локальных переливах и хронологической динамике. Пафос логической ответственности перед этим материалом. Все это вместе взятое, эти десятки страниц не предназначенной для печати мысленной работы, могли бы послужить отличным поводом для раздумий, ежели кто-либо взамен черного огульного списывания этого этапа существования исторического знания в России захотел бы понять его драматические коллизии: как и в тисках догматики профессиональные умы стремились к достойному выживанию. Напомню еще раз: шел только 1954-й год... Искреннее и пронизательное вчитывание в "классиков", стадийный и типологический "формационный" подход (кстати говоря, на мой взгляд, вовсе не тупо-бессмысленный, как теперь любят утверждать безоглядно смелые люди) - все это сочеталось в раздумьях медиевиста такого масштаба, как А.Д. Люблинская, с тонким знанием источников, стремлением к логической ответственности и к документированной "самопроверке во всем".

Хотя раздумья А.Д. двигались все-таки в тесном русле готовых политэкономических схем, интеллектуальная ситуация выглядит, судя хотя бы по этим письмам-трактатам, не так уж просто. Живая мысль кипит и бьется в жестком ложе, но она далека от практического конформизма.

Письмо от 2 марта 1965 г. характеризует иное, размах экстенсивного диапазона аналитики А.Д. Накануне я засыпал А.Д. множеством вопросов, занимавших меня в связи с судьбой итальянских городов сравнительно с городами "заальпийскими" (я готовил тогда главу для "Истории Италии").

«Читая Вашу "анкетку" я невольно думала: "спросил бы он что-нибудь полегче». Однако далее — интересные лаконичные ответы-разъяснения по следующим пунктам. "1) Почему вальвассоры переселяются в города еще в X-XI вв.? (...) 2) Почему в Италии епископы оттесняют светских графов лишь в X в.? (...) 3) Была ли во Франции колмуна сперва частно-правовым институтом? (...) 4) Почему во Фландрии в XIV-XV вв. не было Возрождения, хотя были зачатки мануфактуры? (...) 5) В чем отличия (экон. и полит.) городов Прованса в XII в. от северо-итал. и что повернуло их судьбу в XIII в.? (...) 6) Откуда и когда ведет начало региональное деление Италии? (...) 7) Откуда прочность ганзейской федерации? (...)

Сомневаюсь, чтобы эти рассуждения Вас удовлетворили, но фертокё? Я делала в ЛОИИ доклад об особенностях франц. ф-ма. Русистам он очень понравился, но медиевисты (М.А. [Гуковский] и О.Л. [Вайнштейн]) подняли бурю (почему я расхожусь с Кареевым, Гильфмозом, Флакком и Конокотиным? я подкрашиваю положение крестьян в розовый цвет - "они жили все хуже и хуже", - игнорирую (sic!) классовую борьбу и т.д. и т.п.). Уморительно!"

Расскажу характерный эпизод: как А.Д. требовала от меня убрать некие соображения и гипотетические расчеты из вводной главы диссертации, тревожась, как бы я не провалился на защите.

Еще в 1956 г. А.Д. писала: "Мне кажется, что для диссертации — для **хорошей** диссертации — нужна такая переработка, которая потребует не только дополнительной работы, но и дополнительного **материала**. К чему же Вам защищать диссертацию с существенными пробелами? не к лицу это Вам". Там же насчет очередной неудачи моих попыток подать документы в какую-нибудь аспирантуру: "Ваши ленинградские друзья - (...) мы всерьез этим огорчены. И все же мы все уверены в Вас и в Вашем будущем. Поэтому постарайтесь не горевать. Работайте — это лучший целитель".

И вот я послал существенно переработанную рукопись, ранее дипломную, теперь уже в качестве диссертационной, на просмотр А.Д. Люблинской. Первый отклик от 8 декабря 1957 г.: «Теперь насчет Вашей экономической главы. Я не ожидала, что ваше построение о датировке начала м(ануфакту)ры столь шатко. То, что имеется в вашем письме мне кажется просто **совсем** необоснованным и скажу прямо - недопустимым в исследовании. Почему, имея данные 1307 года, Вы умозаключаете о 1270-х гг.? Почему Вы принимаете именно сорокалетие для необходимого оформления? Что значит "зарождение" мануфактуры? Это ведь не процесс феодализации, насчитывавшей несколько столетий. Хорошо известно, как на рубеже XV—XVI вв. рождается мануфактура. Это происходит вполне отчетливо за какие-нибудь 5—10 лет и притом в таких отраслях, которые не имели дробного разделения труда в домануфактурный период, как сукноделие, в этом плане подготовленное к м(ануфакту)ре еще в цеховое время.

(...) Обилие источников таково, что ясно видно, что ни о какой еще м(ануфакту)ре ранее XIV в. говорить нельзя.

Если Дорен и Сапори датируют 2-й половиной XIII в., то это еще не доказательство. Их методологические позиции иные, чем у нас.

Когда Вы станете кандидатом наук и будете печатать свою работу, вы можете дать волю гипотетическим соображениям, сколько Вашей душе угодно. Но защита - диспут особого рода, оканчивающийся голосованием, причем голосуют люди, 95% коих Вашей дисс. не читало и голосуют по впечатлению, которое далеко не всегда быва-

ет правильным. К тому же, Вы человек со стороны и никому, в Уч.сов. ЛОИИ, кроме В.И. (Рутенбурга. -Л.Б.) и меня незнакомый. Накладут Вам отрицательных или испорченных бюллетеней! Бывает это, бывает!

Мой совет Вам таков -уберите эти гипотезы: они звучат слишком несерьезно. Говорите о том, что у Вас есть для начала XIV в. и все. Тогда выводы II-IV не будут затемнены рабочими гипотезами, опровергнуть которые оппоненты (оф. и неоф.) смогут слишком эффектно.»

Я заупряился. И тогда последовало огромное письмо от 10 января 1958 г. с детальной полемикой, цифровыми расчетами относительно флорентийского сукноделия (т.е. интерпретацией известных данных хрониста Дж. Виллани), с анализом предполагаемого объема тогдашнего годового производства ремесленника-сукнодела, с общими положениями о средневековом ткацком ремесле и ранней мануфактуре, и т.д., и т.п.

Были и терпеливо-настойчивые моралитэ. Приведу выдержки. *«Такого рода главы в кандидатских диссертациях почти всегда неудачными выходят из под пера авторов и несколько улучшаются после обсуждения на кафедрах. Поскольку у Вас такого обсуждения не было, эта глава очень ярко отражает не Ваши достоинства, а недостатки и их надо в какой-то мере устранить до обсуждения (предварительного в ЛОИИ. -Л.Б.) Читать Вашу работу будут люди очень придирчивые и опытные и нужно — очень нужно! — чтобы у них сразу же сложилось о Вас хорошее мнение. Вместе с тем (я и В.И. тут не в счет) они не будут принимать в расчет условия, в которых протекала ваша учеба в ХГУ и Ваш автодидактизм после окончания ХГУ. Они только отметят все недостатки Вашего автодидактизма и это не будет очком в вашу пользу (...) Вы пишете, что люди познакомятся с работой в целом и неудачные 20-30 страниц (на деле их 75!) не будут в состоянии зачеркнуть все 700 страниц работы. Это не так. Впечатление от работы бывает более сложным. Возможно, что от 625 страниц впечатление будет такое: "молодец, неплохо разобрался в этой путанице". Но наряду с этим впечатление от 75 стр. будет таким: "вот какая жалость, в целом-то он неважно подготовлен!" Переработка, которую Вы затем осуществите, не снимет этого мнения, ибо она будет сделана по их указке. И вам долго придется снимать это мнение!»*

Итак, А.Д. всерьез беспокоилась относительно того, выдержу ли я проверку ее дотошных питерских коллег на стопроцентную точность я основательность. Но сам я осознал, что она могла иметь в виду, пожалуй, лишь тогда, когда - аккуратно в канун предварительного обсуждения диссертации среди питерских медиевистов в ЛОИИ, относительно коего тревожилась А.Д., - явился с визитом к Скржинской в ее старый деревянный дом на тихом Крестовском острове. Увидел уютно-пухлую и

румяную хозяйку, исполненную какого-то старозаветного достоинства, с пронзительным колючим взглядом. Ни дать ни взять, бабушка из "Обрыва". Был введен в кабинет, глянул на просторный письменный стол и... похолодел. Рядом с моей рукописью лежали раскрытые хроники Villani, Compagni, Stefani...

Милейшая Елена Чеславовна не была официальным оппонентом, только членом Ученого совета. Но проверяла мою объемистую работу сноски за сноской, перевод за переводом! Что, мол, за новоявленный молодой итальянист завявился? Вот поглядим-ка сейчас, насколько он добросовестен и подготовлен.

Впрочем, слава богу, именно это въедливое занятие и расположило ее, кажется, ко мне — более любой самоновейшей концепции насчет борьбы черных и белых гвельфов в дантовой Флоренции.

Похвалила вскользь за правильную русскую транскрипцию "Сьена" (вместо принятого "Сиена"), "Макьявелли" (вместо "Маккиавелли") и т.п. Я снисходительно отметил про себя мелочность реплики... однако для нее-то не существовало маловажных деталей. Почему-то запомнилось еще из разговоров с Б.Ч.: она съязвила по поводу авторов, которые могут сказать "моя книга". Фу-ты! как нескромно, как нехорошо. Положительный человек скажет разве что: "моя книжка"... И после этого замечания, сделанного непередаваемым тоном, с низкими регистрами голоса, - на всю жизнь у меня в горле застряло и, надеюсь, не вылетало опрометчивое "моя книга".

Что я сделал с "экономической главой"? Не помню. Наверное, все-таки внял критическому напору А.Д.

Несколько эпистолярных выдержек в ином роде, возможно, добавят разноплановые штрихи к человеческому портрету А.Д.

В том самом длинном апрельском письме versus Сказкин-Мейман нашлось в заключение место и рассказу о свежих театральных впечатлениях (на четырех страницах!). Главное из них - "Мещанин во дворянстве" в исполнении Французской комедии, приехавшей к нам тогда впервые. А.Д.-явно хочет поделиться с корреспондентом, для которого этот спектакль был так же недоступен, как если бы его давали в Париже, а вместе с тем ищет случая для формулировок ее собственная эстетическая восприимчивость. Она пишет: *«Впечатление огромное и в целом, в основном схоже с впечатлениями от итал. фильмов (для А.Д. то было высшей похвалой, ибо неореализм итальянского кино она называла чем-то вроде второго Возрождения, не уставала восторгаться им. —Л.Б.). Это тоже прекрасный, глубокий реализм (...) Так же, как о героинях "Рима в 11 час." Вы знаете все, - так и о действующих лицах комедии Мольера можно рассказать массу вещей — настолько выпукло использован не только текст роли, но и весь ее "подтекст" — социальный, психологический и т.д.*

Журден неглуп и очень добродушен. Он совсем недавно "на склоне лет" (по понятиям того времени) влюбился в Доримену и все забыл

ради этой страсти - расчетливость, уважение к жене, заботу о дочери и т.п. До той поры все эти качества у него были — это сквозит. Он и учиться начал ради того, чтобы подняться до Дор[имены]. В сцене за столом, сидя рядом с ней, он просто тает от счастья, весь сияет и - очень интересно - изъясняется свободно, с чувством достоинства. Эта игра ничуть не насилует текст, а совпадает с ним. Все роли сыграны, настолько совершенно, в таком едином плане и ансамбле, как у нас было в блаженные времена МХАТа и Малого театра (только в русских пьесах, разумеется). Все время спектакля (2,5 часа) испытываешь чувство такого живого наслаждения, что во время единственного антракта не хочется даже рассеиваться, чтобы сохранить это ощущение во всей его полноте.

Блеск, изящество, пластика таковы, что в наших драматических театрах просто немислимы - для этого нужны века шлифовки. Лишь в балете у нас имеются спектакли равные в этом отношении.

Прекрасная дикция, мягкая (совсем без грасирования) речь, где каждое слово выразительно и не перегружено. Мизансцены минимальны - все зиждется на речи и на актере.

В рецензиях в центр, прессе (если Вы за ними следили) есть нотки упрека за "излишнее" изящество интерьера, М.-м Журден и т.п. Это неверно. Убранство дома Журдена скромно - по масштабам Парижа Людовика XIV, разумеется. Изящество жены Журдена — но ведь это богатая буржуазка (а не "мещанка") с присущим парижанке тактом и вкусом. Почему из нее надо корчить рыхлую купчиху-крикунью, как у нас делается?»

И т.д. Жаль, что приходится оборвать на этом затянувшуюся выписку о Мольере, а ведь дальше еще весьма раздраженный отзыв на премьеру "Гамлета" в Пушкинском театре ("искромсано великое творение").

Теперь из другой пьесы. 1955 год. У меня защита диплома "Социально-политическая борьба во Флоренции в к. XIII-нач. XIV вв. и идеология Данте" (около 600 стр. машинописи). Краткое письмо А.Д. от 29 апреля: "Я получила Вашу работу только 27IV, в самые горячие дни отправки в набор моего учебника. Поэтому я успела только посмотреть Вашу махину и на основании этого составить отзыв, который и посылаю.

На праздниках я ознакомлюсь с Вашей работой по-настоящему и во вторник 3-го пошлю Вам авио-заказным другой, более подробный и конкретный отзыв. Вы представите тот отзыв, который сочтете нужным. Я надеюсь, что оба поспеют к защите."

Именно 3-го А.Д. это и сделала, в тот же день направив также личное письмо. "Впечатление очень, очень хорошее. Серьезная, добросовестная работа, многообещающая. Замечания подкапливаются, ^и я не замедлю Вам их отослать, как только кончу (...) В общем, по-

трудились не зря и будь у меня другой характер, я хвалила бы Вас без удержу. Но я еще и поругаю в следующем письме."

И поругала-таки. В письме от 15 мая на 16 страницах 23 пункта замечаний! (Правда, с такой оговоркой: *"Мои возражения относятся к работе, рассматриваемой как первый вариант кандидатской диссертации. (...) Сама возможность таких замечаний, адресуемых к дипломной работе, есть (по моему мнению) лучшая похвала этой работе"*)

От 7 августа 1955 г. (очередной отдых с В.С. в любимой Теберде, там же тогда была и Л.П. Калуцкая). *"На днях отважились на целодневную прогулку в горы с большим подъемом. Прошли за день 35 км. и чувствовали себя отлично. (...) Я совершенно не занимаюсь и даже перестала удивляться своему поведению (...) Погода стоит прекрасная, вокруг удивительная красота (...) Так мне жалко, что Вы всего этого не видите."*

Вдогонку, от 10 августа, в ответ на известие о смерти моего отца. *"Надеюсь, что это письмо еще застанет Вас в Харькове и донесет до Вас хотя бы малую частицу того горячего сочувствия к Вашему горю, которое владеет нами с момента получения горестной вести. Я потеряла родителей примерно в том же возрасте, что и Вы, а В.С. еще раньше и нам так понятны и знакомы волнующие Вас теперь чувства. От души желаем Вам мужества и бодрости, которые Вам теперь так необходимы при начале новой жизни. (...) Очень просим не стесняться ни в каких просьбах, ибо очень хотим Вам всячески помочь в Вашем нелегком жизненном пути"*.

От 19 февраля 1955 г. *«Сейчас читаю труды М. Блока по франц. аграрной истории и ф-му вообще. Несмотря на свой идеализм он не чета Полянскому. В особенности хороши у него свежий и интереснейший материал (...) Смотрела "Гамлета" у Охлопкова. Это кричаще-пышное представление с довольно слабыми актерами и с ужасными "выкрутасами". Я сбежала с конца в полном угнетении»*.

От 2 декабря 56 г. *"Дорогой Леня! Я уж боюсь даже подумать о том, какое мнение сложилось у Вас обо мне за последние три месяца: так долго я Вам не писала. Увы, все дело в том, что я вовсе перестало, быть хозяйкой времени и работа задавила настолько нас обоих, что оба мы стали работать по ночам, хотя это уже давно категорически запрещено. Но это не значит никак, что в какой-то мере ослабло внимание к Вам. Я действительно никому не писала, Люб. Павл. и Марии Абр. [Молдавской] тоже. Слишком было уплотнено все время. Надеюсь на Ваше дружеское снисхождение"*.

В годы хрущевской "оттепели" для А.Д. (в гораздо меньшей степени, увы, для В.С.) открылись возможности европейских поездок. "Я

была в Вашей чудесной Италии (к сожалению, не во Флоренции) и даже не предполагала, что Рим **так** великолепен и грандиозен, Неаполь **столь** сверкающ, а Сорренто и Капри **столь** ласковы. Все прежнее головное знание не стоит и с той доли душевного восторга, испытываемого в этих чудесных краях." (Год уточнить не удалось, очевидно, это 1959).

От 21 августа 1959 г. "Самое чарующее впечатление на меня произвел Рим. Если бы я не была до того в Париже, возможно, что именно Париж затмил всё. Но в него я приехала, как в давно знакомый и привычный и хотя он был еще в сто раз чудесней, чем в октябре, все же наибольшее и неумирающее потрясение я пережила в Риме. В XVI в. любили по-античному лаконичные пословицы насчет многого, в т.ч. и городов, и сочинили следующую:

Paris pour vivre.

Rome pour admirer,

Ventse pour etre heureux.

Насчет Венеции не знаю (В.И. говорит, что это истинная правда), а насчет Парижа и Рима - в самую точку! Я не подозревала, что в этом городе можно откопать в собственной душе такую способность к безграничному восхищению. Но что толку об этом писать!"

"Дорогой Ленья!

Очень виновна, что долго не отвечала на Вашу майскую открыточку. Только три дня назад сдала в Издательство том в 32 п/л французских документов XVI в. и все еще не могу притти в себя от изумления, что мне удалось-таки сделать его за 5 месяцев. Никогда еще не приходилось мне делать такой головоломной по трудности и срочности работы и потому ни на что другое, даже на письма, даже на письмо Вам, у меня уже не оставалось ни времени, ни сил. Хотя я и твердила себе, что в июле мое письмо уже может не застать Вас в Харькове, все-таки могу написать лишь сегодня (...) (Кажется, 1958 г.)

От 10 июля 61 г. «Очень рада, что будете писать книгу о Данте и уверена, что она будет хороша. Что касается радости непосредственной и радости рассудочной, последняя, к сожалению, побеждает свою сестрицу. Все чего ждешь и чего с трудом добиваешься уже не приносит той радости, что, бывало, приносил неожиданный пустяк А.м.б. дело в возрасте? (...) Уже скоро год, как Вы у нас были, и действительно, много с той поры воды утекло. Но пруд в Павловске, где мы с Вами и Инной [Шарковой] катались на лодке, все так же хороши и воды в нем еще прибыло. А во дворце открыты реставрированные жилые комнаты Марии Федоровны. Это - суице чудо и еще лучшие Каталной горки.

Был у нас на гастролях французский театр с двумя пьесами Расина "Федрой" и "Британником", После него я запоем читаю Расина и всё о нем., и очень хочется написать книгу о французской культуре XVII в. (...)».

От 10 июня 62 г. "*{...} Морелли меня немножко тревожит тем, что исследовательский момент в нем отпеснен художественным, литературным и это в ту пору, когда исследовательский талант Ваш еще не вполне окреп. Но умолкаю, вспомнила свои далекие годы, когда мои учителя говорили мне свои desiderata, а меня они (при всем почтении) приводили в досаду, словно другие лучшие могли знать мои недостатки и мои пути, чем я сама. (...) У нас отпуск через 2 недели и полетим мы с нашими знакомыми зоологами сперва в Саяны, а затем поплывем по Енисею от Красноярска до Диксона и обратно. У Полярного круга будет 0, но здесь все время лишь на 12-15 больше, т.ч. разница невелика. Я не очень устала и хотела бы поработать еще, т.к. летом нет дурацких заседаний, не надо ездить в Москву и т.п., но надо дать отдых глазам, которые до крайности переуто 'Алены.*

В.С. получил полгода отпуска для завершения докторской диссертации и хочет взять зимой дважды по 3 месяца. У меня, разумеется, никаких отпусков и я тружусь, как китаец, верблюд, как все образцы трудолюбия вместе взятые, а точнее - как всякая русская баба".

От 5 июля 65 г. «*Спасибо за лестное и очень мне приятное мнение о книге с кардиналом. Помимо всего прочего мне очень хотелось пока затъ как рождается "тирания", но это айсберг скрытый под водой на 99%. А вообще, разумеется, "l'art d'etre еппицеих — c'est de tout dire". Это - Вольтер! (...) Наше дантовское заседание было довольно скучным. Его украсила лишь Ел. Челс. с биографией составл. Боккаччо. Алексеев рассказал о поездке, тыщу раз пожалела, что ездил он, а не Вы! Его какая-то итальянка попросила прочесть по-русски несколько строк Данте - чтобы услышать как звучат терцины. Он не помнил **ничего** и прочел - о, надругательство! — стихи Огарева о Данте. Рассказывая об этом, он даже хвалился, что Огарев, "звучит" неплохо! Вот уж поистине, когда бог хочет лишить человека разума, он проводит его в академики».*

От 9 августа 1968 г. из Парижа. «*Ленечка, спасибо Вам очень большое. за ваше письмо. Своим привычным тоном (я словно слышала Ваш голос) оно мне дало полную иллюзию Вашего присутствия. И я думаю, что делаемые Вами работы нужны не менее, чем чисто (или традиционно) исторические исследования, т.ч. Вы, как говорится, "в своем праве" их писать. (...) Вчера в полночь вернулась из 5-дневной поездки в Пуатье, Берри и Ларошель, а до того провела неделю в Нормандии. Но там писать так, как я это сделала на террасе старого*

дома в Севеннах, мне было невозможно. Каждая минута была занята работой или поездками; устала я порядком, но все было чрезвычайно интересно — города, люди, здания, природа, беседы, заседания, лекции (не мои) в Пуатье и т.д. Посылаю вам богатейшую ратушу Лароше-ли, сооруженную в XV в., но "модернизированную" в конце XVI - начале XVII вв., в апогей расцвета этого богатейшего в ту пору города. На стене гербы городов с коими она республика изволила торговать и вести дипломатические дела. Двор и внутреннее убранство необычайно пышны, их можно сравнить разве что с Фонтебло. На площади, прямо против главного входа, памятник Гитону, т.е. мэру, защищавшему Ларошель в 1627-28 гг. против Ришелье. Сейчас город битком набит туристами и спортсменами, машинами и яхтами. Море было видно только чуть посредине двух портов, старого и нового, и, конечно, за выходом. Впрочем и там сооружен на острове виадук в 3 км., и откуда глаз хватает - везде разноцветно-парусные яхты. Но в городе столько чудеснейшей красоты XVI-XVII вв. (...) В Берри ездила с экскурсией (...) смотреть романскую архитектуру. Настолько она необыкновенна, что никак не могу пока собрать свои впечатления и мысли. Знаю лишь одно: надо было мне заниматься XII веком, а не XVIII!

В Пуатье я облазала старый город почти в буквальном смысле, т.к. влезла даже на крышу герцогского замка.

В Нормандии я сперва жила у Маллона (помните мой доклад об его теории в рукописном отделении ГПБ?), необычайно умного и остроумного человека, к тому же милейшего нрава. Затем работала в Руане, а жила неподалеку, в Эльбере.

Снимков у меня столько, что зимой Вы сможете "поехать" в любое место, куда пожелаете - все будет вам показано на экране и прокомментировано».

От 1 мая 1969 г.: «Ленечка, оба Ваши почти одновременные письма - "историческое" и "деловое" и притом оба ласковые - доставили мне много радости. И я не менее довольна, что могу Вам написать: я дома, вылечилась (на данном этапе) по мнению всех врачей "благодаря своему оптимизму", чувствую себя прилично, хотя еще приходится следить за всем (что уже сильно надоедает!) и надеюсь к середине мая выйти на работу, чтобы к осени отбыть в кардиологический санаторий. После этого мне обещают нормальное здоровье и работоспособность. Конечно, опыт приобретен большой, печальный и вероятно полезный. Но я очень хочу думать, что по существу я не из~менилась. {...)» Далее о Ришелье, о Кампанелле: «Политик и мечтатель в какой-то мере они сравнимы, да по-настоящему они замешаны на одних дрожжах: К. ведь "действовал" всю жизнь и мечтал действовать еще больше (и не так уж глупо, я многого жду от Сашиных [А.Х. Горфункеля] исследований на эту тему), притом вооруженно, ибо иначе нельзя, "Compello intrare" — еще Августин знал этот "париа-

доке", только оружие было тогда иное. (...) Милый друг, спасибо Вам за все, будьте счастливы».

"Мои дорогие и милые! Желаю вам всем очень хорошего 70-го года (...) пусть он откроет для вас большую полосу прекраснейшего в усизни человека периода — полной зрелости образовавшегося ума и воспитавшихся чувств, а малышу принесет массу ребячьих радостей и примирения с ребячьими невзгодами (...)»

От 12 апреля 1971 г.: «Воображаю физиономию Мелиса (знаменитый итальянский историк. -Л.Б.), когда он увидит - и услышит - нашу делегацию! Он особенно звал Голову и Бернадскую, выступление коих в Л-де очень оценил. А явится Агаянц (тогда начальница иностранного отдела Ин-та всеобщей истории АН СССР, капитан КГБ в штатском. - Л.Б.)».

От 1 июня 1971 года.: «Ленечка, дорогой (...) Я вышла на работу до конца июля, когда хочу поехать на месяц с сестрой в Эстонию (...) Пока что, чувствую себя в положении голодного, дорвавшегося, наконец, до еды. Даже на Ученом Совете сидела вчера с удовольствием, чего же больше! (...) Какой-то контрольный прибор действует во мне - в смысле нормирования деятельности — ия автоматически ему подчиняюсь. М.б. это и есть самый положительный итог болезни, не считая потери 10 кг. излишнего веса. (...) Насчет книги В.С. я поняла с первого же момента сообщения о перевыборах, даже не зная еще их итогов. (? - перевыборы в руководстве Академии? уход Румянцева? - Л.Б.). Мечтаю лишь о том, чтобы дожить до очередного поворота колеса дамы, одетой в полосатое платье еще с античных времен. Но что-то они - колесо и фортуна - бездействуют уже порядочное время.

Не думайте, что моя болезнь (обширный безболевого инфаркт. — Л.Б.) была преодолена мною, просто я довольно скоро попала в хорошие руки (первую неделю меня чуть не угробил некий молодой врач), а затем больница в Пушкине была необыкновенно хороша. За 3 недели из полуживой старухи я превратилась в себя обычную. Кстати, там в вестибюле висит изречение Семашки (больница его имени), спародированное Ильфом и Петровым. "Здоровье трудящихся — дело Рук самих трудящихся" и все больные признают справедливость этих золотых слов. (...) Да, забыла, что несравненно важнейший итог болезни - твердое знание, что главное в жизни люди - друзья, а не наука и пр. Наука лишь средство иметь очень много прекрасных друзей, она их приводит и скрепляет. Сама же по себе — ничто».

Оставляю эти поразительные для закрытой, в общем, А.Д. слова без комментариев. Нам не дано измерить глубину одиночества другого человека.

Когда я приезжал, на столике у постели перед сном меня непременно ожидала - помимо вазы с апельсинами, для харьковчанина тогда лакомством нетривиальным, - стопка новейших английских, француз-

ских, немецких книг и журналов, которые мне предлагалось хотя бы пролистать перед сном. Кончая университет, английский я учил без педагогов, немецкого не знал вовсе. А.Д. удивилась, огорчилась и потребовала, чтобы я взялся самостоятельно и за него.

В те годы вкус апельсина, его головокружительный запах был связан у меня с Ленинградом и домом Люблинских. Но самый памятный апельсин был съеден мной после защиты в ЛОИИ в феврале 1959 г. Оппонировали М.А. Гуковский и В.И. Рутенбург, я отвечал, кажется, весьма удачно. Все прошло как нельзя лучше, и страшно довольная А.Д. говорила, что у меня был такой вид, словно я защищаюсь каждую неделю. Мы вышли на мороз, А.Д. спросила, не голоден ли я. Нет, я и думать не мог об еде, но рот пересох. И тут А.Д. протянула мне заранее очищенный благоухающий прохладный плод. Навсегда запомнил эту заботливость.

Когда А.Д. предложила устроить застолье у себя, я вряд ли умел оценить, что это значило для нее - не любившей уклонений от заведенного жизненного распорядка и вряд ли когда-либо собиравшей у себя такое многолюдье. И уже вовсе невдомек мне было то, что она собрала людей, с которыми у нее были, мягко говоря, сложные отношения. Это касалось особенно Матвея Александровича Гуковского, которого она, по-моему, терпеть не могла, да и кое-кого из других - кстати, между собой тоже не всегда дружных... Словом, домашнее собрание ленинградских медиевистов в таком составе было событием! - мне это растолковали много позже.

А тогда я принимал все, как должное, и был озабочен лишь гастрономическими задачами. В ленинградских магазинах мне нетрудно было в ту хрущевскую пору купить наилучшие деликатесы, А.Д. помогла накрыть стол, но кофе велела готовить мне самому. Я постеснялся сказать, что ни разу в жизни этого не делал, и очень боялся конфуза. Я заварил кофе - в пропорции к воде по чистому наитию - в большой кастрюле. Обошлось и это, все были веселы и довольны.

Обычное утро. В.С. уехал на работу рано, и мы завтракаем на кухне без него. А.Д. в халатике, свежая и деловитая, немедленно принимается рассказывать о происшествиях питерской научной жизни, о недавних примечательных докладах, о том, как подвигается ее очередная книга, о поразительных открытиях в латинской палеографии и пр. Словом, А.Д. непринужденно и невзначай - все просвещает и просвещает меня. Затем: "Вы свободны с утра, Леня?" Ей нужно съездить на базар, и я охотно соглашаюсь сопровождать. Почтительно несущ с базара сумку, чувствую себя пажем и получаю в награду непрерывное продолжение лекции, даже в трамвае по пути домой.

И все это чертовски живо, предметно, интересно. В научных монологах и разговорах А.Д. присутствовала раскованность, выверенная "лекторская" импровизационность, пластика исторического воображения. Слушать ее всегда было наслаждением. Это то, что в книгах ее яв-

но деформировано и сильно подсушено. Характерная драма времени, не только А.Д. Люблинской. Касаться этой темы трудно, когда за именем автора стоит близкий человек.

Повторюсь: А.Д., как и другие подлинно крупные ученые-медиевисты послереволюционного призыва (говорю именно о них просто потому, что тут мне судить несколько доступней), не притворялась марксисткой, а желала быть ею. А кто не желал - например, Петрушевский или Гревс — тот и не был. О случаях мимикрии, тоже бывавших, толковать впустую, такое убивало талант, если он был, и обрекало на бесплодие. Это были усилия не внешне идеологического происхождения, они исходили из подспудной потребности, двусмысленность которой вряд ли сознавалась, в *публично-доступном* и вместе с тем *лично выработанным* теоретическом оформлении добытого исследовательским трудом конкретного знания. Вростанию в единственную разрешенную теоретичность способствовали огромное обаяние и глубина мысли Маркса, которые известны каждому, кто действительно вчитывался в его труды, а не просто огульно бранит его по нынешней наглой (и, по сути, тоже чисто советской) моде. Но ведь всякое вдумчивое общение с Марксом тогда на самом деле было ересью и официальным "марксизмом" абсолютно исключалось. А.Д., как и все, кто печатался, невольно попадала в расщелину между "своим" Марксом и Марксом обобществленным, — в ситуацию, следовательно, как бы полудобровольной несвободы, изнутри почти не замечаемой, но при всякой публичной деятельности (особенно авторской) неизбежно оказывавшей исподволь омертвляющее воздействие.

Дело не столько в "самоцензуре", как это обычно утверждается, а в предвзятой системности мысли. В ее фундаментальной предопределенности. Фарватер исследования был заранее промерен, вопросник историка известен заранее, индивидуально неожиданным он мог стать разве что в частностях. И потому сам *характер* ответов уже был как бы предусмотрен по крайней мере в чем-то главном, введен в некие понятийные рамки. Вот в чем состояла коренная обуженность. Сужу, разумеется, и по себе, каким я был во времена защиты кандидатской диссертации (в 1959 г.), а затем первой книжки, о Данте.

А.Д., сколько помнится, никогда не заводила разговоров на политические темы. Хотя они с В.С. очень охотно, напряженно и, конечно, сочувственно слушали рассказы о моих бурных харьковских ситуациях начала 60-х.

Скучно иногда что-то роняли о ленинградских процессах и проработках.

Все репутации в их кругу были давно известны и определены безоговорочно. А я был в роли Гурона, или Простодушного. Например, после переезда в Москву и беглого знакомства с почтенным Н.И. Конрадом, в ответ на мой рассказ о любопытном визите к академику - помню брезгливую поразившую меня реплику А.Д. насчет поведения Н.И. некогда в Питере. Он для нее не существовал.

Люблинские старались, насколько я в состоянии теперь это оценить, жить "мимо" политики, жить, сколько достанет сил, наукой, путешествиями и т.п. Но обстоятельства обступали их, как и всех, слишком удушающе-плотно. Я узнал Люблинских, когда за плечами у них уже был тяжкий жизненный опыт. Они редко его касались. И тут рассказывать не мне, а их друзьям постарше.

Если же вернуться к научному методу и стилю, то уравновешивающим фактором для А.Д. была, пожалуй, прежде всего школа Ольги Антоновны Добиаш-Рождественской, которая поминалась ею часто и с особым выражением. Т.е. любовь к источнику - и очень вещное, очень густо-конкретное знание. Поэтому так и нравился ей Марк Блок (вне метода "Анналов"). Притом А.Д. глядела неизменно сопоставительно, широко, на фоне и в масштабе всей Европы. Когда однажды я - ради друга, писавшего диплом о Григе - вздумал осведомиться об "особенностях" развития Норвегии, то тут же получил в ответ такую насыщенную страничку, словно А.Д. всю жизнь обдумывала эту тему.

Доказательность, полнота использования всех доступных источников, категорический запрет на невнимание к "невыгодным" для авторской концепции данным: вот выучка, вот оборона, вот корректив А.Д. к неминуемым в ту пору умственным тенетам. Отсюда горячие дискуссии А.Д. с фантомными и нахрапистыми построениями Б.Ф. Поршнева о Франции XVII в. или с не менее произвольным марксоидным трудом Полянского по политэкономии средневековья.

Она, и состарившись, оставалась удивительно открытой для новых веяний; например, была очень заинтересована и уважительна к всплеску отечественного структурализма. С восторгом восприняла открытия Маллона в латинской палеографии, любила просвещать в отношении них даже меня, полного невежду в этих делах.

Неслучайно А.Д. написала первый русский вузовский специальный учебник по *источниковедению* средних веков. И ее совершенно невозможно представить в роли создателя - неизбежно грубо-идеологического - советского учебника по *медиевистической историографии* (т.е. на месте О.Л. Вайнштейна).

А все-таки читатели книг А.Д. о Франции не смогут ощутить того вольного блеска, который неизменно оживлял ее научные разговоры. Талант Люблинской (как и, например, Неусыхина, как и других блестящих людей той поры) не мог разрастись вполне, так и не будучи высажен в открытый грунт. Историческая роль таких людей состояла в другом: благодаря им, к 60-м годам дотянулась преемственная нить, указывавшая на реальность профессионального уровня, который становился для более молодых все баснословней и недостижимей. Тем паче вне двух столиц.

А вот Владимир Сергеевич сумел, тем не менее, сохранить в чудных публикациях по истории книги свою неповторимую интонацию.

Зато он был печатаем, особенно при жизни, несопоставимо меньше, и его замечательные разносторонние таланты были известны и ценимы в куда более узком кругу.

В.С. бывал иногда "третьим" в нашем общении с А.Д., впрочем, непременно в таких ситуациях тут же перемещаясь на главную роль. Это, конечно, именно он угощал по вечерам слайдами и на два голоса с А.Д. комментировал показываемое. И это, конечно, он был моим необыкновенным гидом по Питеру. Карта города расстилалась с вечера накануне, маршрут увлеченно обдумывался и утверждался самым тщательным образом обоими Люблинскими. Но во время самих прогулок В.С. уже чувствовался полным руководителем. А.Д. сама любила и не уставала слушать его. В.С. знал и помнил решительно все о каждом доме и людях, некогда его населявших. Мог, остановившись где-нибудь на Грибоедовском канале, говорить сколько угодно в своей афористической и неподражаемо иронической манере. Кажется, занятия Вольтером стали частью его натуры. Я робел при нем куда больше, чем при А.Д.

В.С. так и не успел защитить докторскую диссертацию о мучных бунтах во Франции перед Великой революцией. Рукопись эта - новая по материалу, и не сомневаюсь, что превосходная! - продолжает выцветать где-нибудь в архиве. Как жаль! Но на самую степень В.С. было, в общем, наплевать. Помню, он любил приговаривать в 50-е годы со смешком: "Науку двигают доценты".

Писем В.С. у меня почти нет. Но вот одно, незадолго до его смерти - может быть, несколько характеризующее его темперамент и словесные ухватки.

От 27 августа 1966 г.: *«Дорогой Леня, спешу поделиться с Вами своей читательской признательностью: А.Д. дала мне прочесть Вашу рецензию на книгу Мих. Бахтина и она мне доставила огромное наслаждение. Я не читал Гуревича (и кажется, вообще ничего серьезного) и, из-за болезни, не был на дискуссии об этой книге, устроенной Дм.Серг. Лихачевым в Пушкин. доме (кажется, в начале мая или конце апреля).*

Вы не только сумели оценить произведение ММ. Бахтина "по большому счету" (и совершенно справедливо и метко попутно раскрыли его несомненные слабости), но и d'un style impeccable - лягнули целую вереницу ходячих благоглупостей. А меня лично Вы пленили Уже с первой страницы тем, как просто и деловито Вы, походя, Утерли сопли Артамонову. Я совсем не помню его статьи (Любимов-ского перевода у нас дома нет), но зато именно в мае в больнице имел случай подробно и основательно разобраться в том, какой он невежда, хам и халтурщик. Мне пришлось по просьбе редакции "Жизни замечательных людей" рецензировать его рукопись о Вольтере, уже отвергнутую — и получилось у меня 40 страниц убийственной ругани, так это не просто наглое и самовлюбленное невежество, но "со взломом" (зато без знания литературы вопроса и — вещь просто непред-

ставимая у автора курса фр. л-ры и попул книжки о Вольтере! — без знания языка. Будь у меня лишний экземпляр, прислал бы Вам просто *pour desopiler la rate*, (бук.: "чтоб рассмешить мышь", потехи ради. - Л.Б.).

Конечно же, это односторонняя идеализация "народного" и плоскосхематическое огульное осуждение "схоластики" - самые слабые стороны Бахтина. И Вы именно вложили персты в эти раны. Думаю, что это пережитки эпохи формирования авторских воззрений, непреодоленные и тянущие его назад мертвой рукой, которые он сам не отбросил именно лишь вследствие долгой паузы в своем научном творчестве».

Не могу сейчас не добавить, что и моя критика, и согласие с ней В.С. все же не учитывали очень глубокого контекста философии культуры Бахтина, вне которой книга о Рабле, отнюдь не просто историко-культурная, не может быть понята по-настоящему. Отношение к "агеластам" и "схоластике" Бахтин - как и "карнавальную культуру" - моделировал для точки преобразования средневековья в раблезианской призмe. Мне не суждено было продолжить обсуждение этой проблемы с В.С.

Не помню, что помешало мне поехать на его погребение. Но было выступление Юдиной в Москве спустя два или три месяца после трагической безвременной гибели В.С. под руками плохих медиков. Великая пианистка, сев за рояль, повернулась к публике и сказала, что посвящает концерт памяти Владимира Сергеевича Люблинского. Так и мне представился публичный повод оплакать его в своем сердце.

В начале 1968 г. А.Д. отправилась в первую в жизни многомесячную зарубежную научную командировку, в Париж. Внезапная трагическая кончина Владимира Сергеевича вернула ее в Петербург. Мне потом возмущенно говорил, конечно, не любивший ее и не способный понять коллега, что, дескать, А.Д. сразу после похорон, уже при выходе с кладбища, заговорила о том, что хотела бы вернуться во Францию. Некоторые люди в этом увидели деловитую бесчувственность! А я, подавленный уходом В.С., понял, что это было свидетельством шока и явилось бы единственным выходом для нее из потрясения. Единственным целебным забвением для нее.

От 23 марта 1968 г.: «Приблизилась ли я к Парижу хоть на метр, или же он превратился для меня в недостижимый мир, я по-прежнему не знаю и боюсь гадать. Может быть, за меня все уже решено, а м.б. никто об этом не думает. Надо еще учесть, что если решение будет отрицательным, то я вообще о нем не узнаю прямо, но лишь косвенно (напр., когда мне выплатят в ЛОИИ полную зарплату, а не 60%, как платят сейчас)

Завидую Вам, что В.С. Вам снится. Я его не вижу в снах, не потому ли что все еще не могу думать о нем наяву?

Спасибо за Вашу неизменную ласковость ко мне».

Вышло так, что в этот момент судьба (после потери работы в Харькове и изгнания из родного города по политическим причинам) переместила меня в Москву. У меня завязались, в частности, косвенные отношения с вице-президентом АН СССР А.С. Румянцевым, для которого я время от времени делал "подрывные" (как я тогда и до 1970 г. верил) антидогматические тексты статей и докладов - передавая их, впрочем, исключительно через его доверенного помощника Бориса Работу. Я поделился этой тайной с А.Д. и взялся по ее просьбе помочь в возвращении во Францию. Мне приятно предполагать, что мои настояния, высказанные через Работу и переданные могущественному чиновнику, сыграли свою роль.

Далее произошло то, что в мае 1968 г. А.Д. оказалась свидетельницей бунта "новых левых" в Сорбонне. У нас об этом писались лишь ложь и глупости — как с официальной стороны, так и со стороны ретроградных фрондирующих "нравственников". А.Д. была потрясена, ощутив собственной кожей обжигающее движение истории в большом французском стиле, столь знакомом ей ранее по источникам прежних веков. Она привезла вытянутую по горизонтали красную книжицу, сборник надписей, списанных в мае же со стен Сорбонны - включая ставшую затем знаменитой: "Будьте реалистами, требуйте невозможного!" Она была переполнена впечатлениями. Много рассказывала — так, как умела рассказывать только она. А.Д. всем существом историка сумела ощутить и понять в парижских событиях некую неподдельную и трагическую правду, кризис "довоенных" форм жизни, потребность молодых в социальном и психологическом обновлении. Она была на стороне молодых. Ей хотелось бы победы этой необычайной и в общем вполне мирной "социалистической" революции!

Судя по фотографиям - одну совсем крохотную я когда-то выпросил у А.Д. - она в молодости вряд ли могла бы считаться особенно хорошенькой. Но у нее было одно из тех редких лиц, которые, лишь войдя в возраст и приобретя значительность пережитого и продуманного, становятся выразительными, внушительными, сразу приковывают внимание, короче, делаются все красивей и красивей.

Когда я студентом появился в квартире Люблинских в январе 1954, А.Д. было за пятьдесят, и она была уже красива... Помню Неву, схваченную крепким морозом. Мы с А.Д., показывающей мне город, переходим реку по льду. Я крепко поддерживаю немолодого профессора под локоток и любуюсь ее ладной фигурой, стройными ножками и главное, бесподобной выправкой. Решаюсь сказать ей насчет выправки. Она улыбается. "Но, Леня, нас этому учили в гимназии, учили ходить, сидеть, держать спину". А что за такая гимназия? Так я узнаю, что гимназия была привилегированной, и А.Д. Стефанович училась в ней, потому что была дочерью настоятеля Исаакиевского собора.

Вспоминая примечательные дни и впечатления собственной молодости, я попытался рассказать кое-что о "Мадам".

Да, так, оказывается, ее прозвали! — о чем я узнал спустя лишь много лет — в ленинградской университетско-академической среде. Не без почтительности, но с заметным привкусом нелюбви и некой задетости. Так — "Madame! — обращались иногда к французским королевам. Это и была насмешливая изюминка прозвища.

Тут намек на ее безупречные манеры и осанку, но и на ограждавшее ее чувство дистанции, пусть любезной, но подчас и весьма холодно любезной, оформленной - как бы это сказать? - в качестве этикетной. Я, впрочем, не замечал этого в отношениях между А.Д. и людьми, близкими и любимыми ею - например, "Лели" (Елены Викторовны Бернадской). Но меловой круг таких людей был для А.Д. всегда очень четко прочерчен.

Остальные ее подозревали в "высокомерии". Я убежден, высокомерия не было. Но были сложные жизненные опыты 20-х, 30-х, военных, послевоенных лет, были разочарования в людях и острые углы собственного характера, была обидчивость и... кажется, "страсть к разрывам".

А.Д. никогда не объясняла, почему она, например, исключила из числа своих учеников Володю Райцеса... просто мне раз и навсегда было указано, что это имя в ее присутствии упоминаться не должно. Табуированный Райцес уже тем самым оказался для меня, тогдашнего, волнующе-тайным знакомством.

Когда у А.Д. затевался поминавшийся уже мой послезащитный "банкет", гостей отбирала она сама. Я заикнулся было о милейшем умнице Саше Горфункеле, который был так приветлив к моему появлению в питерских широтах, так интересно выступал при обсуждении диссертации, меня он сразу очаровал. Ответом был сухой отказ. Я попробовал вернуться к этой теме, но ощутил стенку. Причина и в этом случае не называлась. Отрывистое "нет", и всё. (Впрочем, по отношению к А.Х. Горфункелю А.Д. впоследствии вполне переменялась, и столь же для меня непостижимо).

Нет дыма без огня. Даже я как-то наблюдал, как после оживленной ученой деловой беседы с коллегой и гостем, притом человеком ей близким, А.Д., почувствовав себя вдруг усталой, с непередаваемой естественностью вставала и прощалась — словно *прием закончен* — "отпускала" собеседника, привыкшего к более простецким нравам и уходившего с недоумением и некоторой небеспричинной обидой. Должен признать, что к ней, умевшей держаться, как никто, просто и величаво, но и, если хотела отгородиться, неуловимо холодно, — прозвище шло.

Но со мной она такой, пожалуй, никогда, никогда не была! Только трогательно и предусмотрительно внимательной.

Со временем я разглядел кое-какие углы и уязвимости, но и поныне, если речь заходит об А.Д., не слишком гожусь в объективные свидетели. Я свидетель благодарный и любящий.

Помню, как мы собрались у Горфункеля после похорон А.Д. помянуть ее, был там, между прочим, и Райцес. Все скорбели и говорили о ней от души, и восхищались ею, и провожали вместе с ней всех учителей своей молодости, замечательных русских медиевистов, людей, условно говоря, 20-х годов - в 70-е очень быстро и на сей раз дружно сошедших со сцены.

Были и поминки в ее квартире, с другим кругом лиц. А.Д. избегала всяких разговоров о смерти и, кажется, завещания не оставила. Если было бы такое завещание, я хотел бы, чтобы в нем в мою пользу были отписаны две вещи. Прекрасное современное полное издание Сира-но де Бержерака в оригинале. И старый латунный барометр, висевший, сколько я знал Люблинских, в простенке рядом с дверью. Этот загадочный романтический прибор, увиденный мною у них тоже впервые, притягивал меня почти так же, как деревце-звонок (из новой квартиры, кажется убранный?). Как если бы он раз и навсегда показывал для харьковского гостя "ЯСНО".

После моего переезда в Москву и смерти В.С. прекратились ежегодные январские наезды в Питер, "к Люблинским".

Александру Дмитриевну я видел теперь чаще во время ее довольно регулярных деловых поездок в Москву. И реже в разговорах наедине, по-прежнему насыщенных. Зато наблюдал ее окруженной людьми. Официальным медиевистическим дамам казалось лестным и полезным обхаживать А.Д. Они, по правде, при всей своей важности гляделись кухарками рядом с нею. А она была поистине Madame.

Потом - хотя А.Д. замечательно оправилась после инфаркта - после торжественно официально отмеченного 70-летия стало уходить ее время.

Врезалось почему-то в память: какая-то "ренессансная" конференция в середине 70-х, перерыв в заседании. А.Д. с прежней осанкой -копна седых и слегка модно подсиненных волос — стоит в стороне в коридоре Дома ученых. Непроницаемое лицо со свойственным только ей "собранным" всегдашним выражением: словно бы сдержанно-учливой готовности к разговору. И... одна. Она никогда не гляделась, во всяком случае, на людях - старухой, больной, усталой — мне такой подсмотреть ее не случалось. Но в эту минуту меня вдруг поражает что-то непередаваемо грустное в ее по-прежнему величавом облике... Что?

И я понимаю: да вот именно то, что она стоит одна. Советские медиевисты в больших научных чинах не подходят, она более не влиятельна и не нужна. Кто-то из молодых ее просто не знает. Я привык всегда в публичных ситуациях наблюдать вокруг нее толпу, в которой каждому было до нее дело: вопрос, предложение, просьба.

И вот ручеек участников собрания обтекает стороной красивую старую даму. И в неоновом свете ее тщательно причесанного нимба - отрешенность и пронзающая меня печаль.